

Евгений Пономарев.

*Homo postsoveticus*¹³

Творчество Александра Зиновьева вчера и сегодня

Александр Александрович Зиновьев — писатель уникальный. Открывая впервые его книгу, читатель задается вопросом: литература ли это? Многие литературоведы ответят: нет, не литература. Тогда что же? Социологический трактат? Но и социологи откредитуются от текстов Зиновьева. Философия? Но и философы не признают его своим. Сам Зиновьев говорит, что он пишет литературу особого рода — социологические романы. То есть нечто на грани литературы и социологии. И не обращает внимания на то, что его стараются не замечать ни в литературе, ни в социологии.

Зиновьева читать трудно. Его нарочито нехудожественный стиль как бы настраивает на серьезный, научный лад. Абстрактность его героев не предполагает характера, не случайно у них часто нет имен. Действие тоже практически отсутствует: герои наблюдают и обобщают увиденное. Все персонажи говорят одним и тем же языком — научно-дистиллированным. Диалоги не вычлняются из массива текста. Все подчинено одной задаче — описанию социальных отношений. Это научный трактат в литературной форме. Отдаленно напоминающий сочинения Платона. Все книги Зиновьева сплошь состоят из диалогов, в которых ценны высказанные мысли — сами по себе. Не важно, кто их произносит. Все это — мысли одного и того же автора, смотрящего на мир с разных точек зрения. Из жанров современной литературы творчество Зиновьева ближе всего публицистике. Оно ориентировано на злободневность. Не случайно каждое изменение в политической жизни СССР и России становится темой для его нового романа.

Когда книги Зиновьева впервые появились в СССР, трудность чтения его сочинений не замечали. Она совпадала с трудностью внешней — создавая упоение запрещенной литературой. Мы открывали для себя его книги, преодолевая препоны: читали брошюрки самиздата, читали изданное там — наглухо заворачивая в газету, чтобы ничей нескромный взор не рассмотрел обложку с фамилией автора. Казалось, что это правда о нас. Дорога же к правде трудна.

Сегодня Зиновьева читают мало. Только по инерции, с застойно-перестроечных времен. Незачем стало продираться через сложный стиль. Кроме того, этот стиль хорошо сочетается с упреками в маразме, которые время от времени звучат в адрес писателя. И впрямь: Зиновьев не рад распаду СССР! Он не поддерживает перемены в России! Значит, впал в маразм, что же еще.

Общераспространенной стала мысль о том, что Зиновьев резко изменился. Кое-кто добавлял: «и изменил». Изменил, естественно, общему делу — священной борьбе с коммунизмом. Но дело, собственно, в том, что «герой диссидентского движения» Зиновьев никогда не был диссидентом в обычном смысле слова. Чтобы понять это, достаточно было прочесть «Гомо советикуса». Тогда этого не заметили. Потом об этом не вспомнили. А Зиновьев вовсе не менялся. Менялась ситуация. Неизменной осталась и социологическая модель, построенная им больше двадцати лет назад в «Зияющих высотах». Все в ней по-прежнему актуально и сегодня, хотя нет больше на карте страны победившего социализма. «Зияющие высоты» читаются как ультразлободневная книга. Например:

«<...> социальное господство в условиях, когда нет никакой иной силы, от которой оно зависело бы существенным образом, порождает систему производства жизни, в которой есть господа, но нет хозяев, несущих личную ответственность за дело, вкладывающих в дело свою индивидуальность, — систему бесхозяйственности, безответственности, обезличенности. Господа стремятся лишь урвать и занять более выгодное положение для этого, не думая о несколько более отдаленных последствиях».

¹³ Бюллетень Русской библиотеки Толстовского фонда, № 102, сентябрь 1999, с. 11.

Читая Зиновьева сегодня, по-прежнему проецируешь текст на современность. И поражаешься: еще более верно, чем было. Повнимательнее бы прочитать Зиновьева лидерам новой России, повторившим старую, как мир, ошибку - решившим изменить экономический уклад во имя улучшения жизни. Впрочем, они бы могли почитать и классиков. Не марксизма-ленинизма, их они читали внимательно. Классиков русской литературы.

Еще в девятнадцатом веке шел спор о том, что нужно изменить для счастья человечества. Социалисты и близкие к ним считали, что человек рождается без представлений о добре и зле. Все плохое, что появляется в нем позднее, связано с общением — его «портит среда». Значит, среда должна быть изменена таким образом, чтобы ее воздействие на человека стало исключительно позитивным. С тех пор, завистливо глядя на Запад, руководители, вожди и президенты только и делали, что изменяли российскую среду на манер западной — надеясь, что сами собой изменятся и россияне.

Их оппоненты возражали: не среда влияет на человека, а человек на среду. Изменить надо внутреннюю сущность человека, тогда изменится и среда. Ни Достоевский, ни Толстой не принимали социалистических идей именно потому, что социалисты в своих построениях не учитывали важности личности, конкретного человека. Они мыслили массами.

Спор столетней давности кажется Зиновьеву по-детски наивным. Так же, как Варламу Шаламову наивными показались каторжные воспоминания Достоевского. Это другая реальность, писал он. Александр Зиновьев — тоже человек иной реальности. Он рассказывает о новой, преображенной среде изнутри. О новом человеке, ежедневно создающем эту среду и ежедневно создаваемом ею. Спор, человек влияет на общество или наоборот, для Зиновьева аналогичен известной дискуссии о курице и яйце. Исторически сложившиеся формы общественной жизни полностью определяют жизнь отдельного человека. В одном из последних своих произведений «Глобальный человек» Зиновьев перефразирует Шекспира:

«Беда, когда перед тобой встает проблема, есть ты или нет. У тебя при этом возникает претензия на то, что ты есть, но нет возможности реализовать ее так, чтобы отпали все сомнения на этот счет.

Отдельно взятый человек <...> есть пустая абстракция. Человек есть нечто лишь как частичка социального механизма».

Человек, по Зиновьеву, — совокупность социальных функций. Поэтому такими странными кажутся его герои. Клички, которые заменяют им имена (Социолог, Супруга, Клеветник в «Зияющих высотах») суть отражение их социальной роли. Социолог ничего не понимает в социологии. Клеветник ни на кого не клеветает. Но такова их роль в обществе. Эти наименования пристали к ним навечно. Поскольку изменить свою социальную функцию, выйти из отведенной обществом социальной ячейки можно только вместе со смертью. В последних работах Зиновьева система «кличек» еще более упрощена. В «Русском эксперименте» (1995) герои именуется по профессии (Писатель, Философ, Журналист) или по политическим взглядам (Коммунист, Лигачевец). В романе же «Глобальный человек» (1997) имена героев почти и вовсе исчезают. Зовут персонажей по первым буквам имени (Ал, Фил), на американский манер.

Когда-то Э. К. Метнер, руководитель издательства «Мусагет», прочитав роман Андрея Белого «Петербург», воскликнул: «Вынули человека, остались одни кальсоны!» У Зиновьева от человека не осталось и кальсон.

Социальная функция как неизменная величина предполагает возможность научного изучения. И Зиновьев добросовестно изучает взаимоотношения людей. Много раз заявляя, что просто обобщает очевидное. Для этого необходимо прежде всего избавиться от заблуждения, восходящего к философам Просвещения, пришедшего в Россию через социалистов и Льва Толстого: «Человек по натуре добр». И от другого заблуждения, сформулированного уже в

XX столетии, о злом начале в природе человека. Человек — пустышка, получающая значение лишь в контексте общественных отношений. Многие человеческие поступки (предательство, клевета, подсиживание коллег и пр.), кому-то кажущиеся ненормальными, для Зиновьева абсолютно нормальны. Потому что они заданы системой общественных отношений. Ненормальными будут, напротив, честность и благородство, поскольку, руководствуясь ими, человек поступает во вред себе.

Таков продукт общественной эволюции: развиваясь и усложняясь, общественные отношения все более подчиняют и упрощают человека. Поразителен оксюморон в приведенной выше цитате. Состоящий из плоти и крови человек осмысляется автором как абстракция — и, например, неосязаемые общественные отношения превращаются в единственную конкретность. Человек Зиновьева сознает себя человеком, лишь прокручивая в уме данные статистики: «<...> я есть представитель величин хотя и безликих, но огромных. И, зная это, ты сам ощущаешь себя величиной», — говорит герой «Глобального человекейника». Воплощенными в жизнь оказались пессимистическое пророчество Е. И. Замятина и восторг В. В. Маяковского:

Единица!

Кому она нужна?! Голос единицы
тоньше писка. Кто ее услышит? -
разве жена! И то,
если не на базаре,
а близко. <...>

А если

в партию
сгрудились малые, -
сдайся, враг,
замри и ляг! Партия -
рука миллионопалая, сжатая
в один
громящий кулак.

Только политические мотивы ни при чем. Надо говорить не о партии, а о массе. Если в «Зияющих высотах» еще присутствует мысль, что обезличивание человека спровоцировано коммунистической идеологией, то уже в романе «Гомо советикус» (1982), во многом разводя западную и советскую системы, Зиновьев отмечал ряд странных совпадений. Все они коренились в главном принципе общественного устройства: «Когда я давал согласие на эту эмиграцию, я в глубине души надеялся вырваться из смертельных дружеских объятий советского коллектива. Но здесь, на Западе, мне раскрыли свои объятия такие же коллективы, отличающиеся от советских лишь отсутствием достоинств последних». А через пятнадцать лет в романе «Глобальный человекейник» (1997), он пишет, что в западном обществе (будущего) многое в социальной жизни очень напоминает коммунистическое общество, которым западные люди все время пугают друг друга. Это, пожалуй, и есть главное изменение концепции Зиновьева — ее географическое расширение. Законы функционирования советской системы с небольшой переработкой оказываются пригодными и для описания всего мира.

Любая общественная и умственная деятельность осмыляется тоже как социальная функция. Философ, художник, ученый суть определенные ступени общественной иерархии, клеточки общества. Кто попадает в эти клеточки — талант или посредственность, умный или патологически глупый — не имеет абсолютно никакого значения. Его функция не творчество, не производство новых смыслов и ценностей. Он должен занимать место и ничего больше. Поэтому замена крупного ученого на бездарного чиновника от науки на посту, например, заведующего кафедрой всеми приветствуется. Постепенно изменяется состав всех работников ка-

федры — на место прежних новый руководитель ставит своих. То, что вместо работы кафедры теперь существует только видимость ее, никого не волнует. Поскольку функция этой кафедры, как и большинства кафедр в мире, — создавать видимость научной деятельности. Символизировать ее своим существованием. Так же организована научная деятельность на Западе. Невеоятно разросшаяся организация получает огромные деньги от фондов, тратит их и при этом не производит абсолютно ничего. Всем так удобно: и дающим деньги и принимающим. А сотрудники организации все как один уверены, что заняты необходимым и полезным делом. «Имитационные формы деятельности настолько удобны для людей и жизнеспособны в наших условиях, что вся наша жизнь принимает характер имитации цивилизации <...>».

Человек — производное от занимаемого места. Не важно, что Мазила из «Зияющих высот» намного талантливее Художника, получающего государственные заказы. В общественной иерархии Художник — выдающийся и крупный, а Мазила, несмотря ни на что, остается Мазилой. Чтобы стать крупным художником, ученым, философом и т. д., необходимо сделать хорошую карьеру в интересующей вас области. Искусство же делания карьеры дается не всякому. И прежде всего не дается любой яркой индивидуальности. Поскольку первое условие карьерного роста — не высовываться. Ни в коем случае нельзя показать, что ты лучше других. Нужно лишь заявить о себе как о потенциальном карьеристе, о своем желании делать карьеру — и ждать. При этом желание не должно быть выражено сильнее, чем у других. Если же среди твоих аргументов есть талант или желание организовать действительную работу взамен имитации, на место начальника надеяться не стоит.

Таким образом, о каждом человеке в коллективе существует два мнения — социальное и официальное (личное и публичное). «Социально N есть демагог, дурак, карьерист, а официально — серьезный хороший оратор, прекрасный руководитель. <...> Если N ездит в заграничные командировки, то социально это означает, что он урвал, ухитрился, устроился, а официально это означает, что он проделал большую работу, участвовал, принес пользу». Здесь нет никакой двойственности мышления. Просто речь идет о разной системе координат. С точки зрения другой системы поведение N будет значить что-то еще. Ведь человек — пустышка. Он получает значение лишь в рамках той системы отношений, в которую входит. Официальное значение поступкам придает идеология, социальное формируется в процессе общения. Эти два значения, как правило, противоположны.

Соединяя эти два значения, просто ставя их рядом, Зиновьев добивается удивительного эффекта: органически сочетается, казалось бы, несочетаемое, возникает сложная фигура речи, основанная на семантике оксюморона. Например, начало «Зияющих высот»:

«<...> жители Ибанска не живут в том прошлом устарелом смысле, в каком доживают последние дни на Западе, а осуществляют исторические мероприятия. Они осуществляют эти мероприятия даже тогда, когда о них ничего не знают и в них не участвуют. И даже тогда, когда мероприятия вообще не проводятся».

Абсурд? Но многим из нас ситуация хорошо знакома: мероприятие проведено на бумаге. То есть его не было, но в то же время оно и было. Иными словами, официально мероприятие состоялось, хотя социально его не было. Есть у этой тирады и более общий, философский смысл: жители Ибанска осуществляют историческое мероприятие самим своим существованием, проводя грандиозный социальный эксперимент.

«Исследуемое мероприятие называется ШКХБЧЛСМПП. Составил название Сотрудник, а в науку впервые ввел Мыслитель, опубликовавший по этому поводу цикл статей на другую, более актуальную тему. Статьи были написаны на высоком идейно-теоретическом уровне, так что их не читал никто, но все одобрили. После этого термин ШКХБЧЛСМП стал общепринятым и вышел из употребления».

«Не читал никто» — реакция социума, «все одобрили» — официальная реакция, «написаны на высоком идейно-теоретическом уровне» — идеологическая фиксация оценки. «Стал общепринятым» — официальный голос в тексте, «вышел из употребления» — голос коллектива. И философское значение: становясь всеобщепотребляемым, термин становится ненужным, ибо означает то, что всем давно известно.

И вновь, говорит сегодняшний Зиновьев, необходимо забыть о советской системе. В идеальном обществе будущего, изображенном в «Глобальном человеконике», абсурд занимает столь же важное место: «Италия. Очередной правительственный кризис почему-то не произошел, как ожидалось. Вследствие этого произошел правительственный кризис, но уже не тот, какой должен был бы быть, а другой. Политологи предсказывают, что этот кризис будет затяжной и в результате разразится именно тот кризис, какой должен был разразиться ранее.

< ...> Премьер-министр Англии клянется, что повышения налогов не будет. Комментатор говорит, что речь премьера — тонкий политический ход, так как решение о повышении налогов уже принято».

Здесь образуют противоречие реальность и ее идеологическое осмысление. Из прежней дилеммы сохранилось «публичное» — идеология, «личное» исчезло. По мнению интеллектуалов будущего, нужно «не думать лишнего». Принять лишь одну систему значений и не создавать избыточных. Поэтому люди третьего тысячелетия разучатся «двоемыслию», свойственному эре коммунистических государств. Они станут намного более шаблонными. И не заметят, что реальность и ее идеологическое осмысление шиты белыми нитками — «тонкий политический ход».

Зиновьев как бы смеется над противоречиями общественной жизни, не разжимая губ. Сохраняя абсолютную серьезность. Смех — движение к осознанию. Зиновьев раскрывает нам глаза на то, что он считает основным противоречием бытия.

Это философский конфликт социальности (коммунальности) и цивилизации. Социальность есть стремление человека выжить в среде себе подобных, лучше устроиться в ней, обезопасить себя. Что есть подчинить себе как можно больше индивидуумов, подчиняясь при этом как можно меньше. Различные формы цивилизации так или иначе ограничивают тенденции социальности. В истории одерживает верх то одно, то другое. Социалистическое государство построено по принципу социальности. Во главу угла поставлены человеческие отношения. При этом индивидуум практически закрепощен коллективом. Поскольку человек тиражируется, «незаменимых людей нет». Не случайно в описываемом в «Зияющих высотах» городе Ибанске все жители носят фамилию Ибанов. А далее ситуация доводится до абсурда. Если какая-то книга написана в соавторстве, то ее авторы указываются так: Ибанов и Ибанов. Весьма удобными представляются именные каталоги в библиотеках города Ибанска. В рапортах и протоколах рассказывается о том, как гражданин Ибанов нанес определенный ущерб гражданину Ибанову. Перечисление знаменитых писателей выглядит следующим образом: «Достоевский, Толстой, Ибанов». Хорошо, если в Ибанске был только один великий писатель. И так далее.

Капиталистическое общество, в свою очередь, подавляет социальность, противопоставляя ей деловые отношения. Однако результат оказывается таким же. Культ дела превращает исполнителей в полуроботов. Возможность увольнения — в угождающих начальнику подхалимов. Человеческие отношения все более вытесняются карьеризмом. И оказывается, что общение между людьми в обществе будущего сведется к нулю. Индивид будет общаться лишь с непосредственным начальником и несколькими сослуживцами. Более же всего — со своим компьютерным двойником. Писатель Зиновьев находит идеальную форму диалога для своего романа — диалога с самим собой: человек обсуждает все актуальные для него проблемы с собственным отчужденным сознанием. Индивидуум закрепощен коллективом, которого он при

этом (в отличие от коммунистического общества) еще и не видит. Те же коллективы, но без советских достоинств.

Фантазмагория разрастается. В условиях громадных коллективов воля отдельного индивида вообще не играет никакой роли. Например, как в «Зияющих высотах», так и в «Глобальном человеёйнике» выдающиеся политические документы создаются самыми невежественными Исполнителями. Но это не беда: документы проходят большое количество инстанций, где дорабатываются; искажаются руководителями при прочтении: обсуждаются на всех уровнях, где искажаются еще больше. С точки зрения конечного результата абсолютно безразлично, кто написал доклад: величайшие умы или величайшие тупицы. Тем самым научно оправдывается сам принцип организации общества: не человек красит место, а место человека. В условиях современной цивилизации и ближайшего будущего процессы обработки и искажения информации еще более упрощаются. За людей это делают компьютеры. Получение правдивой (неискаженной) информации — иллюзия, созданная идеологией.

И в историческом процессе личность не значит ничего. Любой поступок индивида, не поддержанный миллионами, даже не замечается. Это «допороговые явления». Фактически они имели место. Исторически их не было.

В трактовке исторического процесса Зиновьев приближается к концепции К. Н. Леонтьева. Мир развивается в сторону упрощения. Коммунистическое или современное капиталистическое государственное устройство суть частные случаи массового общества, созданного XX веком. Это один из последних этапов в развитии человечества. С каждой новой эпохой значение личности все более сводится на нет. Следующий этап умаления личности, по Зиновьеву, связан с появлением компьютера. Компьютер способствует деградации интеллекта, присваивая себе ряд его функций. Одновременно он подавляет личность обилием информации. Он фиксирует все мысли и чувства человека, демонстрируя убожество его духовного мира. И, наконец, контролирует человеческую деятельность.

Сама же цивилизация, как громадный компьютер, разбухает информацией. На определенном этапе она перестает производить что-либо новое и начинает бесконечно перерабатывать старое, уже накопленное. И тогда жизнь обращается в имитацию цивилизации.

Александр Блок в начале двадцатого века написал о веке девятнадцатом:

А человек? — Он жил безвольно:

Не он — машины, города,
«Жизнь» так бескровно и безбольно

Пытала дух, как никогда...

Там, в сером и гнилом тумане,

Увяла плоть, и дух погас,

И ангел сам священной брани,

Казалось, отлетел от нас.

Что же чувствует человек в социально структурированном мире конца девятнадцатого столетия и будущего, двадцать первого века? Ощущает свою вторичность, ненужность? Это было лишь поначалу. Вот, например, герой Платонова, для которого новый мир был в новинку, размышлял, «полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется?». На страницах Зиновьева появился новый человек, выведенный за несколько селекционных десятилетий, — новый «тип живого существа», гомо советикус, сокращенно — гомосос.

Он осознавал свою полную зависимость от среды и использовал ее себе во благо. Он привык жить в трудных условиях, постоянно готов к еще большим трудностям. Он не хочет никаких изменений, поскольку до конца сознает нерушимость общественной структуры. Он покорен властям, поскольку знает: любой протест принесет ему только вред. Он агрессивно настроен по отношению ко всему нестандартному, ибо оно несет угрозу ему самому. Как герой

Шаламова в карцере, он руководствуется принципом экономии усилий, ибо каждое лишнее движение есть потеря внутреннего тепла. Поэтому, что бы он ни делал, он делает халтурно. Гомосос хорошо понимает, что сам по себе он ничто. Он сила в массе себе подобных. Только в коллективе он личность. Занимая социальную нишу, он приобретает ее признаки и становится непохожим на остальных. При переходе в другую клеточку социальной иерархии все признаки индивидуальности меняются. Поэтому отдельный гомосос — существо многомысленное, текучее, похожее на хамелеона. У него нет и не может быть убеждений. Убеждения он считает признаком интеллектуальной недоразвитости. Умный гомосос в любую минуту может развернуть убедительную аргументацию за любую теорию — и тут же ее опровергнуть. Убеждения невозможны там, где общество построено по принципам социальности: они мешают в борьбе за существование. По тем же принципам трудно говорить о нравственности гомососа. Это то же самое, что говорить о нравственности орд Чингисхана. Герой романа «Гомо советикус» рассуждает о доносах — и приходит к выводу, что донос — удобнейший литературный жанр, наиболее глубокое выражение личности.

В этом пространстве тотальной неопределенности индивида важнейшую роль обретает идеология. Она единственное, что связывает человека с внешним миром, организует его миропонимание. Идеология дает приемлемые объяснения существующему устройству общества и роли индивида в нем. Она настраивает человека на абсолютную ценность «мы», воспитывает готовность в любой ситуации пожертвовать во имя страны в целом своим личным «я» — или чужим «я». Гомосос обычно выбирает последнее.

Идеология предлагает человеку набор стандартных ролей, масок, из которых необходимо выбрать одну. Впрочем, в случае необходимости ее всегда можно поменять на другую. Если же от человека надо избавиться, лучший способ — сорвать с него маску, уличив в несоответствии официального и истинного облика. «Раньше я считался человеком, — пишет герой «Гомо советикуса», — который «не дурак выпить и с бабами покуролесить». Теперь выяснилось, что я — пьяница и развратник. Раньше я считался плохо устроенным в бытовом отношении, недотепой, который с большим трудом добился решения жилищной проблемы на самом жалком уровне. Теперь выяснилось, что я — аферист и мошенник». Факты остаются прежними, изменяется их социальная трактовка, официальная оценка. С маской на лице гомосос ощущает себя добропорядочным гражданином, какое бы гадкое дело он ни совершал. Но без маски он тут же искренне чувствует себя преступником (вот, к слову сказать, одно из объяснений тех нелепых признаний, которые подсудимые подписывали в сталинские годы).

Мышление гомососа столь же аморфно, как и его поведение. «Желеобразно». Лучше приспособлено для целей выживания, чем мышление *homo sapiens*. Гомосос мыслит блоками чувств. Абстрагируясь таким образом от конкретной мысли или конкретного поступка, гомосос оправдывает себя за недостойные, с нашей точки зрения, действия. Другой способ мышления гомососа — осмысление одного явления в рамках нескольких систем координат. Благодаря этому любой поступок может иметь несколько значений — а значит, не иметь ни одного. Складывается впечатление, что соединение взаимоисключающих слов для него — не риторический прием, а способ мышления. «На Западе даже оголтелые реакционеры борются за демократию, ибо для них демократия есть последняя возможность бороться против демократии. Мы же против демократии, ибо она мешает нам честно, без ложных спектаклей бороться за демократию. И потому долой демократию!» В этом месиве понятий можно лишь с трудом отделить мысль от рисовки, силлогизм от каламбура. Это риторический прием: как советский руководитель, герой Зиновьева убеждает нас не смыслом сказанного, а потоком слов.

Самое страшное для гомососа — выпасть из коллектива. Это означает потерю начинки, которая и определяет всю его суть. Без нее — он ходячий кусок мяса. Даже женщины, знает гомосос, отдаются не ему лично, а той социальной субстанции, которую он представляет. При

всем при этом он искренне любит свою систему. Поскольку любое ничтожество приобретает в ее пределах глубокое внутреннее содержание. Поскольку она максимально нетребовательна к человеку. Максимально демократична. В ее пределах воистину каждая кухарка может управлять государством. Ибо эта система, как примитивный организм, обладает безграничными способностями восстановления. В случае войны, утверждает герой «Гомо советикусе», и разрушения структуры власти она моментально появится вновь. И никакие перестройки, реформы и прочее не страшны этой отлаженной системе. Верховная власть, реформирующая общество сверху, может сколько угодно увольнять и наказывать отдельных представителей власти нижнего уровня («на местах»). Но никогда ей не удастся сломать саму систему — сократить, например, количество руководящих ячеек. «Начиная с некоторого момента, любые решения руководства по поводу некоторой проблемы имеют один и тот же результат. Например, решение сократить штаты с таким же успехом ведет к их увеличению, как и решение их увеличить».

Одна эта фраза лучше объясняет неудачи российских реформ, чем долгие выступления политологов. Добрым, а часто просто непродуманным намерениям властей воспротивилась система. Не та, плохая, — абстракция, сотворенная человеконенавистниками-большевиками, от которой мы, как правило, отделяем себя, — а вот эта, родная, внутри которой мы как нельзя лучше прижились и вне которой мы попросту не мыслим своего существования. Попытка разрушения сложившейся общественной структуры привела к ее всестороннему развитию. Попытка лишить ряд чиновников привычных привилегий привела к тому, что привилегий у них стало в несколько раз больше. Попытка сокращения чиновничьего аппарата вызвала его могучий рост. И так далее.

Еще более, чем система, помешали реформаторам люди, ради которых все было предпринято и которые действовали совсем не так, как было запланировано, — но именно так, как и должны действовать нормальные особи вида *homo soveticus*. Каждый, получивший возможность урвать, урвал. Всякий оказавшийся близко к привилегиям закрепил их за собой по закону. Все дотронувшиеся до кормила власти улучшили условия своего существования. Получившие возможность взбежать вверх по социальной лестнице (благо на время исчезли перегородки между этажами) не преминули это сделать. И теперь цементируют перегородки. Чтобы безопаснее сидеть.

Система сохранилась и живет. О человеке по-прежнему судят по занимаемой должности. Должность приносит доходы, как средневековое российское кормление. Старую поговорку «деньги к деньгам» можно перефразировать: «должность к должности». Должность внушает уважение. К примеру, в современной Российской Академии наук пестро от директоров, заведующих, министров, спикеров, ректоров, управляющих делами и прочая и прочая. Редкий депутат Государственной думы не защитил докторской диссертации. Редкий губернатор не кандидат наук. Редкий Жириновский не полковник Российской армии. О профессиональной значимости судят по должности, а не наоборот.

Те же, кто не в состоянии пробиться к вершинам, всячески подчеркивают пусть небольшое, но должностное превосходство. Надстраивают должностной барьерчик, да так, что за ним, как за новым русским забором, не видно самого здания. Промышленные предприятия, больницы, школы, институты, по сути, отданы в частную собственность директорам. За последние годы должности (и кабинеты) директоров были обставлены массой внушительных атрибутов директорской власти. Соответственно увеличилась зарплата. Деньги, ежемесячно получаемые директором, могут составлять сотни окладов рядовых работников. И каждый рядовой работник, облизываясь, жадно взирает на директорское кресло. Ибо знает: разговоры о профессионализме руководителей — из идеологической сферы. Окажись он завтра на месте директора, не изменится ничего, кроме кармана, в который потекут деньги.

Каждый хочет иметь должность. И должности массово производятся — согласно пожеланиям трудящихся. Опасение внушает лишь одно: что будет тогда, когда все станут директорами? Хотя, наверное, разберутся, кто из директоров главнее.

В любом случае стало очевидно, что западнизация России не принесет ей освобождения от бед. Напротив, пишет Зиновьев в «Русском эксперименте», западнизация есть включение страны в «сферу влияния, власти и эксплуатации Запада». Современная Россия ужасна, по мнению Зиновьева, тем, что ее социальная система организована из продуктов распада прежней — это некий «социальный убудок». Состояние смуты определяется прежде всего хаосом и эклектикой в социальной сфере. Победенная в холодной войне страна находится на стадии идейного, морального и даже биологического разложения. Организация социальной жизни по западному образцу в России невозможна, как невозможна она нигде вне Запада. В прогнозе на XXI век Зиновьев говорит, что русские вымрут, как вымерли в США покоренные индейцы.

Сама же западная система, утверждающая деловой аспект человеческих отношений в ущерб коммунальному, в своем развитии неуклонно движется к катаклизмам иного рода. Главной болезнью озападного мира XXI столетия будет одиночество. Люди, лишенные любого общения, кроме делового, а подчас сознательно лишаемые и работы, будут стремиться к смерти. Самым грандиозным общественным движением станет борьба за «последнее право человека» — умереть тогда, когда хочется. В сфере организации жизни Запад позаимствует многие достижения коммунистического общества, бесконечно проклинаемого в СМИ. Кроме самого главного — общения в коллективе. Многие черты гомососа станут характернейшими для западных людей. Все, кроме забытого коллективизма. Зато к ним добавится роботообразность. И человек превратится в сверхчеловека — занятое исключительно делом существо с полностью вытравленной человечностью. Мир движется в сверхсредневековье — с разгромом СССР в «холодной» войне закончился гуманистический этап развития цивилизации, начавшийся в эпоху Возрождения.

«Трагедия большой истории состоит не в том, что какие-то плохие, корыстные и глупые люди толкают человечество в нежелательном направлении вопреки воле и желаниям хороших, бескорыстных и умных людей», — пишет Зиновьев в «Русском эксперименте» и дословно повторяет в «Глобальном человеке» от имени человека будущего.

Что же делать? Ничего, отвечает Зиновьев. Ибо как ни будет противодействовать социальным законам единичка, она все равно будет поступать именно так, как нужно системе. Есть другой путь — войти в число тех несуществующих с исторической точки зрения одиночек, которые раньше сжигали себя на Красной площади, а сегодня борются с системой как-то иначе. Результат, по мнению Зиновьева, одинаков. «Дело не в том, что история идет неправильно. Дело в том, что твое присутствие в ней неправильно».

В любом обществе, по его мнению, есть единицы, которым, несмотря на противодействие коллектива, удалось стать «индивидуализированными личностями». Эти несколько человек и являются ядром цивилизации. Общество их терпит, но никогда не пускает наверх — к должностям. Их награда — понимание происходящего. Самим своим существованием они борются с системой. От этого никуда не деться. Это крест. Это социальная функция. В отличие от многих борцов с системой, Зиновьев понимает бессмысленность борьбы. Но иначе жить не может. И несколько не удивят его упреки в несовременности и маразме. Они закономерны. Раньше обвиняли в антисоветчине.

«Страшно не то, что все это происходит. <...> Страшно то, что это происходит без какого бы то ни было прикрытия. Без психологии. Без нравственной драмы. Не будем сгущать краски, сказал Карьерист. Мы же живем. Работаем. Даже смеемся. И ведем умные содержательные беседы. Чего же еще?»